

A man with dark hair, seen from behind, wearing a dark, worn leather jacket with a wide collar and a belt with metal studs. He is standing in a desolate, war-torn city street. The buildings on either side are heavily damaged, with crumbling facades and missing windows. Debris is scattered on the ground. The sky is overcast and grey.

Максим Орлов

**Не бойтесь
спящих
лиходеев**

Максим Орлов

Не бойтесь спящих лиходеев

«Автор»

2026

Орлов М. В.

Не бойтесь спящих лиходеев / М. В. Орлов — «Автор», 2026

Пятнадцать лет назад с неба упал Лихой Пепел — и города обратились в камень. Люди застыли на улицах, в домах, на полях. Живые, но не мёртвые. Спящие, но не безопасные. Их называют лиходеями — потому что те, кто не выдержал и проснулся, убивают всех, кто движется и дышит. Мирон по прозвищу Кремень — ходок Тяглой Тропы. Он водит караваны через мёртвые города, размечает путь мелом и знает одно правило: не буди спящих. Но в Кореничах город просыпается раньше срока. Кто-то ставит метки на стенах. Кто-то рубит спящих на «каменное мясо». А в подвалах ратуши стоят «особые» — те, кого нельзя трогать. В списке заказчика — два имени, от которых у Кременя перехватывает дыхание. Его жена. Его дочь. Фолк-постапокалипсис о памяти, жертве и цене надежды. О людях, которые идут сквозь камень, чтобы найти тех, кого любят. И о правиле, что знает каждый ходок: не бойтесь спящих лиходеев — бойтесь тех, кто их будит.

© Орлов М. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. НОЧЬ ЛИХОГО ПЕПЛА	5
Глава 1. Кореничи	8
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Не бойтесь спящих лиходеев

ПРОЛОГ. НОЧЬ ЛИХОГО ПЕПЛА

Марфа стояла на крыльце и смотрела на небо — не потому, что там было что-то особенное, а потому, что Устинья, что спала в люльке за её спиной, вдруг заплакала, и этот плач был не от голода, не от мокрых пелёнок, а от чего-то другого, от страха, что бывает у маленьких детей, когда они чувствуют: что-то не так, что-то идёт, что-то приближается.

Марфа вышла во двор — босиком, в одной рубашке, потому что было жарко, потому что ночь была душная, и воздух был тяжёлый, как перед грозой, но грозы не было, и небо было чистое, без облаков, и звёзды горели ярко, и месяц был полный, и свет его ложился на крышу дома, на забор, на яблоню, что росла во дворе, и на колодец, что стоял у стены.

И тут она увидела.

С неба падало что-то — не дождь, не снег, а серая пыль, мелкая, как мука, и падала она тихо, беззвучно, и ложилась на всё — на крышу, на забор, на яблоню, на колодец, на траву, на землю, и Марфа подставила ладонь, и пыль легла на неё, и была она тёплая, не холодная, как дождь, а тёплая, как дыхание, и Марфа подумала: что это? И понюхала — и почувствовала запах, не плохой, не хороший, а странный, как от старой бумаги, как от вещей, что долго лежали на чердаке, как от того, что было, но давно кончилось.

Устинья плакала громче, и Марфа вернулась в дом, взяла её на руки, и Устинья прижалась к её груди, и перестала плакать, и только дышала часто, часто, как дышат те, кто боится, и Марфа гладила её по голове, и шептала: «Тихо, тихо, моя маленькая, тихо, мама здесь, мама рядом».

И тут она услышала — голос Мирона, с улицы, из-за забора, и голос его был хриплый, не такой, как всегда, а такой, как бывает у тех, кто бежал долго, и не может отдышаться.

— Марфа! — кричал он. — Марфа, выходи! Быстро!

Марфа вышла на крыльцо — с Устиньей на руках, и увидела Мирона, и он бежал к дому, и лицо его было белое, и глаза — широкие, и в руках он нёс что-то — мешок, тяжёлый, и из мешка сыпалась та же серая пыль, что падала с неба.

— Что это? — спросила Марфа, и голос её дрогнул, потому что она увидела: Мирон боится, и если он боится — значит, есть чего бояться.

— Не знаю, — сказал Мирон, и остановился у крыльца, и дышал часто, и пот текёл по его лицу, и пыль на его рубашке была густая, серая, и он отряхивал её, но она не отряхивалась, а только летела дальше, и оседала на всё. — Не знаю, что это. Но люди на улице — они падают. Они падают, и не встают. Они покрываются — этим. Этим серым. И становятся — камнем.

Марфа посмотрела на Устинью — на дочь, что спала у неё на руках, и увидела: на её платье — серая пыль, и на её волосах — серая пыль, и на её щеках — серая пыль, и Марфа провела рукой по её лицу, и пыль была тёплая, и Марфа почувствовала: что-то не так, что-то идёт, что-то приближается, и это не гроза, и это не дождь, и это не то, что можно переждать в доме.

— Беги, — сказала Марфа, и голос её был ровный, потому что она была мать, и мать не может себе позволить бояться, когда на руках — ребёнок. — Беги, Мирон. Беги, пока можешь.

— Я не уйду без тебя, — сказал Мирон, и в голосе его была та упрямая нотка, что Марфа знала, та нотка, что бывала у него, когда он решал что-то, и не мог отступить, даже если отступить — значит выжить.

— Уйди, — сказала Марфа, и посмотрела на него — прямо, в глаза, и в глазах её было не страх, а что-то другое, то, что бывает у женщин, что знают: они не могут бежать, потому что на руках — ребёнок, и ребёнок — тяжёлый, и бежать с ним — значит упасть, и не встать.

— Уйди, и возьми Филата. Филат — маленький, он лёгкий, ты его донесёшь. А я — не смогу. Я — с ней. Я — с Устиньей.

— Марфа, — сказал Мирон, и голос его дрогнул, и в этом дроге была не слабость, а то, что бывает у мужчин, когда они понимают: они не могут спасти тех, кого любят, и это понимание — страшнее любой смерти. — Марфа, не надо. Я тебя донесу. Я тебя — донесу.

— Не донесёшь, — сказала Марфа, и посмотрела на небо, и увидела: пыль падает гуще, и воздух становится мутным, и звёзды не видны, и месяц не виден, и всё — серое, серое, серое, и этот серый цвет был не цветом, а чем-то другим, чем-то, что входило в неё, через кожу, через лёгкие, через кровь, и она почувствовала: что-то меняется, что-то начинается, что-то, что нельзя остановить.

— Беги, — сказала она снова, и голос её был твёрдый, потому что она знала: если она сейчас заплачет — Мирон не уйдёт, и они все умрут, и Устинья умрёт, и Филат умрёт, и она не может этого допустить. — Беги, Мирон. Беги, и не оглядывайся. И запомни: я — люблю тебя. И её — люблю. И если ты — выживешь — Расскажи ей. Расскажи — обо мне. Расскажи — как я её любила.

Мирон посмотрел на неё — долго, внимательно, и в глазах его были слёзы, но он не плакал, потому что мужчины его склада не плачут, а только сжимают кулаки, и стискивают зубы, и дышат часто, часто, как дышат те, кто бежал долго, и не может остановиться.

— Я вернусь, — сказал он. — Я вернусь за тобой.

— Знаю, — сказала Марфа, и улыбнулась — той улыбкой, что бывает у женщин, когда они знают: они не дождутся, но всё равно ждут. — Знаю. Но не сейчас. Сейчас — беги.

И Мирон — побежал.

Марфа стояла на крыльце — с Устиньей на руках, и смотрела, как Мирон бежит по улице, и как пыль падает на него, и как он отряхивается, но пыль не отряхивается, а только ложится гуще, и как он бежит к дому соседей, к Филату, и как он хватает Филата — маленького, худого, с широко раскрытыми глазами, — и как бежит с ним дальше, к лесу, к тракту, к тому месту, где нет пыли, где можно дышать, где можно жить.

И Марфа посмотрела на Устинью — на дочь, что спала у неё на руках, и увидела: на её лице — серая пыль, и на её губах — серая пыль, и на её веках — серая пыль, и Марфа провела рукой по её лицу, и хотела стереть пыль, но пыль не стиралась, а только входила глубже, в кожу, в кровь, в кости, и Марфа почувствовала: что-то начинается, что-то, что нельзя остановить, что-то, что заберёт их — обеих.

И тут она почувствовала — не боль, а что-то другое, как будто кожа её начинает неметь, как будто кровь в её жилах начинает густеть, как будто что-то — входит в неё, через пыль, через воздух, через дыхание, и это что-то было не холодное, не горячее, а — тяжёлое, как камень, что ложится на грудь, и Марфа почувствовала: она не может дышать, она не может двигаться, она не может — ничего.

Она посмотрела на свои руки — и увидела: они становятся серыми, не от пыли, а изнутри, как будто камень растёт в ней, из костей, из мышц, из кожи, и этот камень был не холодный, а тёплый, живой, дышащий, и Марфа поняла: это — конец, это — то, что забирает их, это — то, от чего Мирон бежал, и от чего она — не может убежать.

Она посмотрела на Устинью — на дочь, что спала у неё на руках, и увидела: и она — становится серой, и камень растёт в ней, и лицо её — спокойное, потому что она спит, и не чувствует, и не знает, и Марфа почувствовала: что-то рвётся в груди, не боль, а — тоска, тоска по тому, чего не будет, по тому, что не случится, по тому, что она не увидит, как Устинья растёт, как она учится ходить, как она говорит первое слово, как она выходит замуж, как она становится матерью.

И Марфа — запела.

Тихо, тихо, так, чтобы не разбудить Устинью, и песня была та, что она пела ей каждый вечер, перед сном, и слова были простые, и мелодия была простая, и Марфа пела, и чувствовала, как камень входит в неё, как он поднимается от ног, к коленям, к бёдрам, к животу, к груди, и как она — тяжелеет, и как она — застывает, и как она — перестаёт быть собой, и становится — чем-то другим, чем-то, что не дышит, не двигается, не чувствует, но — помнит.

И она — помнила.

Помнила — как Мирон впервые увидел её, на ярмарке, и как он подарил ей ленту, красную, с белыми горошинами, и как она надела её в волосы, и как он смотрел на неё, и не мог наглядеться. Помнила — как они поженились, и как Мирон построил этот дом, своими руками, и как они въехали в него, и как Устинья родилась, и как Мирон плакал, впервые в жизни, и как он держал её — маленькую, красную, кричащую, — и не мог наглядеться. Помнила — как они сидели на крыльце, летними вечерами, и пили чай, и смотрели на закат, и молчали, потому что не нужно было слов, потому что всё было сказано, и всё было понятно.

И камень — входил в неё.

И она — пела.

И Устинья — спала.

И пыль — падала.

И мир — кончался.

Марфа стояла на крыльце — уже не стояла, а была, потому что она не могла стоять, не могла двигаться, не могла — ничего, и камень был на ней полностью, от ног до головы, и только лицо — не до конца, и только глаза — смотрели, и эти глаза видели — всё, что было вокруг, и всё, что было внутри, и она видела — как пыль падает на дом, на забор, на яблоню, на колодец, и как всё — покрывается серым, и как всё — застывает, и как мир — кончается.

И она слышала — не ушами, а чем-то другим, тем, что осталось в ней, когда камень вошёл, и она слышала — как другие кричат, как они падают, как они покрываются камнем, и как они — замолкают, и как город — кончается, и как мир — кончается, и как она — остаётся, одна, в камне, в темноте, в тишине.

И она почувствовала — не боль, а что-то другое, как будто что-то — входит в неё, не камень, а что-то другое, что-то — живое, что-то — дышащее, что-то — помнящее, и это что-то было не извне, а изнутри, из самой пыли, из самого Пепла, и она поняла: это — не конец, это — начало, это — то, что будет держать её, и других, и всех, кто покрыт камнем, и она — не одна, она — часть чего-то большего, чего-то, что не может умереть, что не может кончиться, что — будет.

И она — держала.

Держала — Устинью, что спала у неё на руках, и не просыпалась, и не чувствовала, и не знала. Держала — себя, что стояла на крыльце, и не могла двигаться, и не могла — ничего. Держала — дом, что стоял за её спиной, и не рушился, и не падал. Держала — двор, что был вокруг, и яблоню, и колодец, и забор, и крышу, и всё, что было — её, и что теперь — было камнем.

И она — ждала.

Не знала — чего, но ждала, и этот ожидание было не томительным, не тяжёлым, а — спокойным, как бывает у тех, кто знает: они дождутся, кто бы ни пришёл, и когда бы ни пришёл, и они — будут ждать, и они — будут держать, и они — не отпустят.

И пыль — падала.

И мир — кончался.

И Марфа — держала.

Глава 1. Кореничи

Мирон остановился на перекрёстке бывшей Базарной и поднял правую руку — ладонью вперёд, пальцы растопырены, как учил старый Боян: "Если видишь опасность — покажи руку, пусть караван знает, что ты жив, но не двигайся резко". За ним, в клубе известковой пыли, что поднималась от колёс, скрипнули тормоза — Савватий осадил первую повозку, придержал вожжей, не дожидаясь повторного знака. Лошади фыркнули, попятились, и кобыла Савватия — серая, с белой проточиной на лбу — дёрнула ушами, почуяв что-то неладное.

Впереди, в проёме между двумя обрушенными фасадами, где когда-то стояли лавки торговца солью и портного, стояли они. Трое. Мужик в расстёгнутом зипуне, с рукавами, засученными до локтей, баба с узлом на плечах — узёл был туго перетянут верёвкой, и концы её свисали до самой земли, подросток — узкий, долговязый, с раскрытым ртом, будто собирался крикнуть и не успел, и теперь этот крик застыл в камне навсегда. Камень лежал на них плотно, до последней складки на рукаве, до каждой жилки на шишковатой руке мужика, до каждой морщинки на лбу бабы. Кремень знал: это не камень, это плоть, что забыла, как ей быть живой, и теперь дышала медленно, раз в минуту, как сердце великана.

Он достал из-за пазухи мешочек с мелом — кожаный, потёртый, с завязками, что обмотаны вокруг запястья, чтобы не потерять, — отсыпал в горсть. Пальцы уже были белые до локтя — за день набегит, к вечеру руки будут как у мельника. Присел на корточки, провёл черту по булыжнику — от левого копыта Савватиевой кобылы до правого, в обход мужика в зипуне, оставляя пядь до каменной ноги. Мел лёг мягко, с сухим шуршанием, и белая черта резко выделилась на тёмном, замшелом камне мостовой. Воздух здесь был тяжёлый, известковый, с привкусом старой листвы, что за пятнадцать лет так и не сгнила под ногами, и с чем-то ещё — с запахом сырости, что поднимался из подвалов, где когда-то хранили капусту и соленья.

— Чего встал? — донеслось сзади. Голос Ярилы, приказчика, — тонкий, с городской брезгливостью, что пробивалась даже сквозь страх. — Дорога прямая, места много. Чего мелом размазываешь?

Кремень не обернулся. Он смотрел на мужика. Каменное лицо было спокойное, почти доброе — такие лица бывают у уставших плотников в воскресный вечер, когда работа сделана, и можно сесть на лавку у дома, и смотреть, как дети бегают по двору. Но Кремень смотрел не на лицо, а на шею. Там, под подбородком, где зипун расходился, камень был чуть темнее. Не от грязи — грязь бы смывалась дождями за пятнадцать лет. От тепла. Кремень знал этот признак: если камень темнеет к полудню, значит, кровь под ним пошла, и спящий проснётся раньше срока.

— Савватий, — сказал он, не повышая голоса, но так, чтобы возница услышал. — Обходи слева. По мелу. Колесо в пяди от стены — не ближе. И не смотри на них. Смотреть — значит будить.

Возница кивнул, хотя Кремень и не видел его — только услышал, как скрипнула кожа седла. Щёлкнул кнутом — не хлестнул, а так, по воздуху, чтобы лошади поняли: трогаем, но тихо, — и повозка тронулась. Скрипнула ось, глухо стукнуло колесо о выбоину, и Кремень поморщился: стук — это плохо, стук разносится по мёртвым улицам, как удар колокола. Кремень сжал в кулаке колокольчик без языка — медный, тяжёлый, с облупившейся краской, — ударил им о ладонь — раз, два. Глухой, костяной звук. Филат с Лукой, что ехали на второй повозке, подхватили стук — у них были свои колокольчики, такие же. Так они переговаривались: "идём", "стой", "опасно". Язык ходоков — язык звуков, а не слов.

Ярило подъехал на гнедом жеребце, придержал его рядом с Кременем. Приказчик был в добротном сукне, тёмно-синем, с серебряными пуговицами, в сапогах с медными подковами, — всё новое, с иголки, городское, и на фоне мёртвого города, серых камней, облупившихся

фасадов, эта новизна казалась неуместной, как праздник на похоронах. Лицо красное, от пыли и от обиды, что его, купеческого приказчика, водят за нос какой-то оборванец с мешочком мела.

— Ты что это, ходок, мне дорогу указываешь? — Ярило сплюнул в сторону, но попал на камень — на ногу каменному подростку, и плевок остался на камне, блестящий, как слеза. — Я за три мешка серебра тебя нанимал, не для того, чтобы ты меня по мелу водил, как слепую клячу.

Кремень поднялся медленно, разогнул спину — она хрустнула, как старая ветка, — и посмотрел на Ярилу. Не в глаза — на переносицу, как учил Боян: "Смотри на переносицу — не будешь злиться, а он будет думать, что ты смотришь в глаза". Так было проще не злиться, а злиться сейчас нельзя — злость делает руки дрожащими, а дрожащие руки в мёртвом городе — это смерть.

— Ты, приказчик, коня придержи, — сказал он. — И сам не слезай. И голос не повышай. Здесь голос — как камень: падает тяжело, и поднять его уже не сможешь.

— Это ещё почему? — Ярило нахмурился, и морщины на его лбу стали глубже.

— Потому что он, — Кремень кивнул на подростка, — ещё спит. А проснётся — первым услышит тебя. И тогда не только ты, но и весь караван — твой, и мой, и Савватиев — станет его ужином.

Ярило осёкся. Посмотрел на каменного парня, на раскрытый рот, на тонкие пальцы, что застыли в воздухе, будто тянулись к кому-то — может, к матери, может, к сестре, может, просто к воздуху, потому что страшно было. Сглотнул, и кадык его дёрнулся, как у испуганной птицы.

— Бреешь, — сказал он, но тише, и голос его дрогнул. — В Кореничах все до ночи спят. Сам говорил. Сам, своими словами.

— Говорил, — согласился Кремень. — Да только год на год не приходится. Бывает, что к полудню, который прогреется, а бывает, что и с утра шевелится. Ты смотри — шея у него темнее. Это значит, кровь под камнем пошла. Не проснулся ещё, а уже чувствует. Чует тепло, чует жизнь, чует нас.

Он замолчал, прислушался. Савватийская повозка прошла по мелу, миновала мужика в зипуне, теперь разворачивалась, чтобы объехать бабу с узлом. Колесо хрустнуло по стеклу — где-то в мостовой валялся осколок, не убрали за пятнадцать лет, и этот хруст был громким, как выстрел, в тишине мёртвого города. Кремень поморщился. Стекло под колесом — это как игла под ногой: спящий дёрнется, не проснётся, а тепло в нём прыгнет, и другие почувствуют.

— Филат, — крикнул он через плечо, но не громко, а так, чтобы подмастерье услышал. — Слезь. Осколок убери. Рукавом, не пальцами. Пальцами — значит коснуться, а касаться — значит будить.

Подмастерье спрыгнул с повозки — лёгкий, быстрый, как кошка, — подбежал, присел. Подобрал стекло рукавом — рубаха была грубая, льняная, и стекло не прорезало её, — сунул в карман. Кремень кивнул — продолжай, и Филат вернулся на повозку, даже не посмотрев на спящих. Он знал: смотреть — значит будить.

Ярило смотрел на всё это с таким видом, будто ему показали, как разделяют тушу, и он не знает, отвести глаза или смотреть дальше. Бледный стал, губы сжал, и руки его, что держали поводья, побелели в костяшках.

— И долго так? — спросил он. — Я к вечеру в Зимовье быть должен. У меня договор. Купец ждёт.

— К вечеру будешь, — сказал Кремень. — Если не станешь орать на каждом перекрёстке. А станешь орать — к вечеру тебя здесь же и найдём. Только от тебя уже ничего не останется, кроме сапог с подковами. Их-то я и привезу. Тебе на смену. Скажу: "Вот, приказчик был, да весь вышел".

Ярило открыл рот, хотел огрызнуться, да передумал. Повернул коня, отъехал на полсажени, ехал теперь молча, втянув голову в плечи, как черепаха, что прячет голову в панцирь. Кремень усмехнулся уголком рта — не доброй усмешкой, а так, привычно, как усмеваются те, кто видел много глупых людей. Городские все такие. Думают, что камень — это навсегда, что мёртвый город — это просто город, что можно прийти, забрать своё, и уйти. А камень — он живой, только медленный. И мёртвый город — это не город, а кладбище, где мертвецы только притворяются мёртвыми.

Караван шёл дальше. Кремень впереди, мел в руке, колокольчик в другой. Размечал путь: здесь — прямо, здесь — в обход, здесь — стой, жди, пока Савватий переложит мешки, чтобы повозка уже прошла, стала легче, и колесо не хрустнуло по стеклу. Солнце клонилось к западу, тени от каменных фигур тянулись по мостовой, длинные, чёрные, будто пальцы, и с каждой минутой тени становились длиннее, пока не слились в одну большую тень, что накрыла весь город.

Кремень шёл и считал. Не повозки, не спящих — считал тепло. Вот у колодца, где стоят четверо — трое мужиков и баба с коромыслом, — камень холодный, это видно по тому, как на нём не тает утренняя роса, и роса лежит каплями, блестящими, как слёзы. А вот у лавки, где сидит старик, подперев щеку рукой, — камень тёплый, и росы на нём нет, и Кремень прошёл мимо, не задержался, но запомнил: старик — первый в очереди на пробуждение. Если к закату не управиться, старик встанет, и тогда — беги.

Он остановился у поворота на Торговую. Впереди улица расходилась на площадь, заваленную обломками, где когда-то стоял фонтан, а теперь только каменная баба, что держала в руках разбитый кувшин. Там стояли густо, по двадцать, по тридцать фигур, и между ними не было прохода, как в лесу, где деревья стоят так плотно, что не протиснешься. Придётся идти дворам, через задворки, через чужие огороды, где давно никто не сажал капусту, и где теперь росли только сорняки да яблони, одичавшие, с мелкими горькими плодами.

Кремень обернулся. Ярило ехал следом, бледный, молчал, и глаза его бегали по сторонам, как у зайца. Савватий — тоже, только он молчал всегда, даже когда был жив, а не в мёртвом городе. Филат с Лукой — на второй повозке — переговаривались тихо, не слышно о чём, но Кремень знал: они боятся, и это хорошо, потому что страх делает людей осторожными. Лошади стояли смирно, только уши дёргали, и кобыла Савватия фыркнула тихо, как будто извинялась за то, что дышит.

— Слушай, приказчик, — сказал Кремень, не повышая голоса. — Ты у меня спроси сейчас, пока мы на краю. Спроси — и езжай обратно. Я тебе половину серебра верну, честное слово ходока. А не спросишь — потом поздно будет. Поздно будет не потому, что я не доведу, а потому, что ты не вернёшься.

Ярило поднял на него глаза — серые, с голубизной, как зимнее небо, — и в глазах этих был страх, но и что-то ещё — упрямство, что бывает у людей, которые не могут отступить, даже если знают, что отступить — значит выжить.

— Чего поздно?

— Спросить, зачем ты сюда поперся. В Кореничах в эту пору не ходят, здесь в эту пору — молятся, чтобы не ходить. А ты — пришёл. Значит, не за товаром. За товаром — в Ямскую слободу едут, или в Зимовье на Мше. А в Кореничи — за мёртвыми едут. За теми, что не знают, мёртвые ли.

Ярило помолчал. Потом сказал тихо, так, что Кремень еле расслышал, и голос его дрогнул, как струна, что вот-вот лопнет:

— У меня там сестра. В доме на Торговой, второй от угла. Я письмо получил, от человека, что ходил месяц назад. Он её видел. Спит. На крыльце. Живая. Камень на ней — белый, не серый, значит, не умерла внутри. Живая.

Кремень кивнул. Понял. Такие, как Ярило, сюда не за товаром ходят. Такие ходят за мёртвыми, что не знают, мёртвые ли, и надеются — вдруг живые, вдруг можно разбудить, вдруг можно вернуть. Но Кремень знал: камень — не тюрьма, из которой можно выйти. Камень — это дом, в котором можно остаться. И те, кто в камне, — не пленники, а жители.

— Ладно, — сказал он. — Едем. Только правила мои — без разговоров. Я скажу "стой" — стоишь. Я скажу "беги" — бежишь, не оглядываясь. Я скажу "ложись" — ложишься, и чтоб ни звука. Понял?

— Понял, — сказал Ярило, и голос его был твёрже, чем раньше, потому что он понял: здесь не он приказчик, а Кремень. Здесь Кремень — хозяин, а он — гость, и гость должен слушать хозяина.

Кремень повернулся к площади. Посмотрел на густую толпу каменных. Посчитал, где можно пройти. Выбрал путь — через дворы, мимо кузни, через чей-то бывший сад, где теперь стояли яблони, одичавшие, с мелкими горькими плодами, и где, может быть, кто-то когда-то гулял с детьми, и смеялся, и не знал, что скоро всё это станет камнем.

И тут он почувствовал.

Не ухом — кожей. Сзади, от площади, пошёл тёплый воздух. Не от солнца — солнце было уже низко, и грело слабо. От камня. Кто-то там, в толпе, грелся быстрее, чем должен был, и это тепло шло волнами, как от печи, что топится зимой.

Кремень сжал колокольчик. Посмотрел на песочные часы, что висели на поясе, — стеклянные, с медной оправой, — и увидел: песок бежал, и до заката оставалось меньше трёх часов.

Мало. Очень мало.

Кремень повернул караван в переулок — узкий, между двумя глухими стенами, где когда-то, может, стояли заборы, а теперь только булыжник, поросший мхом, да крапива, что пробилась между камней и тянулась к свету. Здесь было просторнее, и главное — дальше от площади, где грелось что-то большое, невидимое, но ощутимое кожей, как жар от печи за стеной. Савватий провёл повозку боком, колесо чиркнуло о стену — глухо, по камню, не по стеклу, и Кремень выдохнул, потому что стекло под колесом — это как игла под ногой спящего: дернется, не проснётся, а тепло в нём прыгнет, и другие почувствуют.

Но тепло не отступало. Оно шло следом, как запах костра за ветром — не близко, но и не далеко, и с каждым шагом становилось гуще, плотнее, будто кто-то раздувал угли, что тлели под пеплом. Кремень остановился, приложил ладонь к стене — камень был холодный, мокрый от конденсата, с запахом сырости и старой извести, и это было хорошо: значит, греется не стена, а кто-то из тех, кто стоит за поворотом.

Он обернулся. Ярило ехал, втянув голову в плечи, лицо серое от пыли и страха, губы сжаты так, что побелели. Савватий — молча, погонял лошадей тихо, без кнута, только вожжами, и кобыла его, серая, с белой проточиной, ступала осторожно, будто чуяла, что под ногами — не просто мостовая, а граница между живым и мёртвым. Филат с Лукой — на второй повозке — переглянулись, когда Кремень поднял руку, и в глазах Филата Кремень прочёл то, что знал сам: дело плохо.

— Стой, — сказал Кремень, не повышая голоса. — Савватий, повозку сюда, к стене, чтоб колёса не стучали. Филат, слезай, держи лошадей, и чтоб ни звука. Лука — со мной.

Лука спрыгнул с повозки — лёгкий, быстрый, в лаптях на босу ногу, потому что сапоги берёг, — подошёл, и Кремень увидел: парень не боится, а собран, как натянутая тетива. Хороший подмастерье, третий год с Кременем ходил, ни разу не подвёл, ни в резонанс не лез без нужды, ни слова лишнего не говорил. Кремень кивнул ему — иди за мной, только не шуми, и Лука кивнул в ответ, не спросив, зачем, потому что знал: спросит — значит, помешает.

Они свернули за угол — и Кремень увидел.

Посреди переулка, там, где раньше, наверное, был чей-то двор, а теперь только булыжник да одичавшая смородина, что росла у стены и уже начала цвести белыми кистями, стоял

мужик. Большой, плечистый, в расстёгнутой рубахе, с рукавами, засученными до локтей, и на предплечьях — татуировки, выцветшие, но ещё читаемые: солнце, колосья, имя, что Кремень не смог разобрать. Руки его были раскинуты в стороны, будто он обнимал кого-то невидимого, или будто хотел удержать то, что уже ушло. Голова запрокинута, рот открыт — не кричит, а будто дышит глубоко, полно, как после долгого бега, и на губах — иней, хотя день был тёплый.

Камень лежал на нём плотно, до каждой морщинки на лбу, до каждой жилки на шее, до каждого волоска на бороде, что торчала щетиной, не бритой, может, уже неделю перед тем, как Пепел его накрыл. Но шея — тёмная. Почти чёрная. И от неё, от этой темноты, шло тепло — такое, что Кремень почувствовал его кожей, за десять шагов, такое, что воздух над мужиком дрожал, как над раскалённой печью, и смородина, что росла рядом, уже начала сохнуть — листья её скрутились, почернели, хотя корни были в тени.

Лука присвистнул тихо, сквозь зубы.

— Греется, — сказал он. — Сильно. Давно, поди.

— Сильно, — согласился Кремень. — И давно, похоже. Смотри — росы на нём нет, а на других, что похолоднее, — есть, капли висят, как бусы. А этот к полудню уже дышал, а к вечеру — и вовсе разогрелся. Видно по тому, как рубаха на нём местами потемнела — не от грязи, а от пота, что проступил сквозь камень.

Он подошёл ближе — осторожно, ступая на носки, чтобы не хрустнуть по стеклу, что валялось под ногами, — и шагов на пять тепло ударило в лицо, как от печи, что топится зимой, и запах — не пот, а что-то сладкое, приторное, как от варенья, что забыли на плите, или как от гнилых яблок, что лежат в траве под осенью. Кремень остановился, посмотрел на мужика — тот стоял неподвижно, но Кремень знал: это обман. Камень двигался внутри, медленно, как лёд весной, когда река ломается, и ещё час — и мужик дёрнет рукой, ещё два — откроет глаза, а к закату — пойдёт искать, кого обнять, и не отпустит, пока не задушит.

— Что делать? — спросил Лука, и голос его был ровный, но Кремень видел: пальцы у парня подрагивают, не от страха, а от того, что тело знает — сейчас будет нехорошо.

Кремень не ответил сразу. Он смотрел на мужика, на раскинутые руки, на открытый рот, на татуировки на предплечьях, и думал: если обойти — потеряем время, а времени и так мало, песок в часах бежит, и до заката — меньше трёх часов. Если пройти мимо — мужик может проснуться, пока повозка будет проезжать, а если проснётся — услышит лошадей, почувствует тепло, и тогда не оберёшься, потому что лиходеи в первые минуты — самые злые, они ещё не поняли, что умерли, и думают, что могут вернуться.

Оставалось одно — то, чего Кремень не любил, но умел.

— Держи, — сказал Кремень и отдал Луке колокольчик — медный, тяжёлый, с облупившейся краской, тёплый от руки. — Если я упаду — тащи меня назад, не смотри, что со мной, не слушай, что я говорю, просто тащи, хоть волоком, хоть за волосы. Понял?

Лука побледнел, но кивнул, и пальцы его сжались на колокольчике так, что костяшки побелели.

— Понял.

Кремень снял перчатку с правой руки — медленно, зубами стянул кожу с пальцев, и бросил её на землю, к ногам Луки. Перчатку он всегда снимал, когда входил в резонанс, — так было проще, кожа к коже, камень к коже, — и рука его была белая, с мозолями на ладони, с шрамом на указательном пальце, что остался от того раза, когда он коснулся спящего, что уже начал просыпаться. Пальцы дрожали — не от страха, а от привычки, потому что тело знало: сейчас будет больно, как всегда, как в первый раз, как в десятый, как в сотый.

Он протянул руку к мужику — не торопясь, как протягивают руку к ребёнку, чтобы не испугать, — и коснулся камня.

И провалился.

Не в темноту — в свет. Яркий, белый, как снег весной, когда он только-только лёг на землю и ещё не успел почернеть от грязи. Кремень стоял на поле — широком, раздольном, с травой по пояс, с васильками, что синели между ржи, с жаворонком, что пел где-то высоко, невидимый, и с ветром, что дул с востока, тёплым, пахнущим мёдом, молоком, чем-то сладким, детским, чем пахнет дом, где растёт маленькая девочка.

Он повернулся — и увидел.

Девочка. Лет пяти, в ситцевом платье, в белом платочке, что сполз на затылок и держался на одной завязке, бежала по полю, смеялась, махала руками — кому-то, кого Кремень не видел, и смеялась так, как смеются только те, кто ещё не знает, что смех когда-нибудь кончится. А за ней — мужик, тот самый, плечистый, с татуировками на предплечьях, бежал, не догонял, а так, чтобы она видела, что он рядом, и не боялась, и кричал ей: "Стой, Ульяна, стой, а то упадёшь!" — и голос его был хриплый, отцовский, с любовью, с той любовью, что не кричит, а зовёт.

Кремень хотел крикнуть — не беги, стой, — но голоса не было, потому что он был не собой, а мужиком, и сердце его — не его сердце, а того мужика, что стоял в переулке, — рвалось, надрывалось, потому что он знал: сейчас будет нехорошо. И девочка бежала, и смеялась, и не слышала, и платочек её трепыхался на ветру, и васильки качались под её ногами, и жаворонек пел, и всё было хорошо, и всё кончалось.

А потом поле кончилось.

Стало темно — не ночью, а как в подвале, где нет окон, и пахло сыростью, и где-то капала вода, и было холодно, и страшно, и некуда деться. И голос — не девочки, а мужской, чужой, спокойный, почти ласковый, как голос того, кто утешает больного ребёнка, — сказал: "Ложись, брат. Ложись. Спи. Тебе же лучше будет. Спи. Мы тебя не обидим. Мы тебя спасём."

И мужик — тот, плечистый, — ложился на землю, не сопротивлялся, потому что верил, потому что знал этих людей, потому что они были его соседями, его друзьями, может, даже родней, и они сказали — ему лучше будет, и он верил. А они — стояли вокруг, в капюшонах, с мешками в руках, и сыпали на него серую пыль, густую, как мука, и пыль эта ложилась на лицо, на руки, на грудь, и становилась камнем, и мужик ещё дышал, ещё смотрел на них, ещё верил, а потом — перестал, потому что камень дошёл до горла.

Кремень дёрнулся.

Он стоял в переулке, рука прижата к камню, и дышал часто, глубоко, будто только что выбежал из бани, и пот проступил на лбу, на висках, на шее, и сердце билось так, что отдавалось в пальцах, в коленях, в зубах. Лука держал его за плечо, смотрел в лицо — испуганно, вопросительно, и губы его шевелились, но слов не было, потому что он видел: Кремень вернулся, но не весь, что-то осталось там, в чужом сне, в чужой смерти.

— Живой? — спросил Лука наконец, и голос его дрогнул.

Кремень кивнул, отступил на шаг, надел перчатку — медленно, потому что пальцы не слушались, — и посмотрел на руку: она дрожала, не от холода, а от того, что внутри что-то осталось, обрывок чужого сна — поле, девочка, голос, — и чувство, не его чувство, а мужиково, что его предали те, кому он верил, и это чувство было такое тяжёлое, что Кремень хотел плюнуть, чтобы избавиться от него, но не мог, потому что оно было не его.

— Он не сам, — сказал Кремень, и голос его был хриплый, чужой, как будто он ещё не вернулся до конца. — Его кто-то усыпил. Пеплом. Нарочно. Из мешка. Свои же. Соседи, может.

Лука посмотрел на него с сомнением, потому что не понял, как можно узнать такое, просто коснувшись камня.

— Откуда знаешь?

— Видел, — сказал Кремень, и помолчал, потому что не хотел рассказывать про поле, про девочку, про голос, — не хотел, чтобы это стало словами, а осталось тем, чем было: видением, что жжётся изнутри, как уголь. — Он верил тем, кто его усыпил. Думал — ему лучше будет. А они его — в камень. И дочь его — Ульяна — бежала по полю, и не знала, что отец её уже умирает.

Лука побледнел ещё больше, потому что понял: если одних усыпляют свои, значит, и других могут, и значит, город — не просто город, а место, где кто-то что-то делает, и это что-то — нехорошее.

— Уходить надо, — сказал Кремень, и голос его стал твёрже, потому что он собрался, потому что он был ходок, а ходок не может себе позволить дрожать, когда рядом — караван. — Сейчас. Не через переулок — через дворы, назад, на Базарную, потому что этот встанет до заката, и не один, потому что если один греется — значит, и другие рядом, и значит, город просыпается раньше, чем должен был.

— А как же приказчик? — спросил Лука. — Он к сестре хочет. Он не поймёт.

Кремень посмотрел на него — и понял: Лука не спрашивает, он знает. Знает, что Ярило не дойдёт до сестры, что город уже просыпается, что они опоздали, и что единственное, что они могут сделать — это увести караван, пока не поздно.

— Приказчик, — сказал Кремень, — сам выбрал. Мы его предупредили, а он не послушал, а теперь — беги, к повозкам, скажи Савватию — разворачивай, идём назад, на Базарную, быстро, и чтоб ни звука, потому что звук — это смерть.

Лука кивнул, побежал, и Кремень остался на секунду — посмотрел на мужика, что всё так же стоял с раскинутыми руками, будто обнимал невидимую дочь, и подумал: а может, он и правда её обнимал, может, она была здесь, рядом, и её тоже усыпили, а может — она до сих пор здесь, в камне, рядом с ним, и они стоят вместе, и не знают, что умерли.

Он отвернулся, пошёл к повозкам, и сзади, из переулка, донёсся звук — тихий, почти неслышный, как будто камень треснул, но Кремень знал: это не камень. Это мужик сделал первый вдох.

Караван разворачивался в узком переулке медленно, будто нехотя, и каждый поворот давался с трудом — три повозки, гружённые солью и железом, занимали почти всю ширину между глухими стенами, поросшими мхом и лишайником. Савватий ругался тихо, сквозь зубы, погонял лошадей не кнутом, а одними вожжами, и кобыла его, серая, с белой проточиной на лбу, слушалась плохо — чуяла камень вокруг, чуяла тепло, что шло от стен, и норовила попятить назад, к выезду, к простору. Савватий был мужик молчаливый, лет под пятьдесят, с лицом, что обветрилось до цвета старой коры, и за всю дорогу от Ямской слободы до Кореничей он не сказал ни слова лишнего — только сейчас, в переулке, когда колесо хрустнуло по булыжнику, он выругался так, что Филат, ехавший на второй повозке, даже обернулся.

Кремень шёл впереди, размечал путь мелом — короткими, уверенными чертами, не размазывая, как раньше, у въезда в город, когда времени было больше, и когда он ещё надеялся, что управится до заката. Мел в руке был тёплый, от ладони, и оставлял на булыжнике белые полосы, что в свете закатного солнца казались почти серебряными. Солнце уже клонилось к крышам — тем, что уцелели, тем, что не обрушились за пятнадцать лет, — и тени от повозок легли по мостовой длинными, чёрными полосами, будто кто-то разлил по камню дёготь.

Ярило ехал молча, втянув голову в плечи, и лицо его было серое — не от пыли, хотя пыли хватало, а от страха, что проступал сквозь городскую брезгливость, как вода сквозь плохо конопаченную стену. Губы его были сжаты, и Кремень, идя впереди, чувствовал его взгляд — тяжёлый, как камень, что давит в поясницу. Приказчик не простил. Он всё ещё хотел к сестре, всё ещё верил в письмо, что получил месяц назад, от какого-то бродяги, что ходил в Кореничи и вернулся живым, — а бродяга, может, и соврал, может, и не видел никакой сестры на крыльце, а просто взял серебро за ложь, потому что в мёртвых городах правда стоит дешевле лжи.

— Ходок, — сказал Ярило вдруг, тихо, но так, что все услышали, и голос его дрогнул, как струна, что вот-вот лопнет. — Мы же не дойдём.

Кремень не обернулся. Он смотрел вперёд — на переулок, что вёл к огородам, на дыру в заборе, что должна была быть за поворотом, если память его не подводила, а память у ходока — как у охотника: либо ведёт, либо убивает.

— Дойдём, — сказал он, и голос его был ровный, без обещания, без угрозы, просто констатация, как констатируют, что солнце встаёт на востоке, а садится на западе.

— Ты сам сказал — город просыпается. Ты сам сказал — к закату не управимся. — Ярило сжал поводья так, что костяшки побелели, и жеребец его, гнедой, с золотой гривой, дёрнул ушами, почуяв хозяйскую тревогу.

— Управимся, — сказал Кремень, не оборачиваясь. — Если не будем стоять. А стоять — значит умереть. Здесь стоять — нельзя. Здесь можно только идти. Или бежать.

— А сестра? — Голос Ярилы дрогнул сильнее, и в этом дроге была не только злость, но и что-то ещё — то, что Кремень узнавал сразу, потому что видел это у десятков таких, как Ярило, — надежда, что не хочет умирать, надежда, что цепляется за соломинку, даже если соломинка — гнилая.

Кремень остановился. Повернулся медленно, как поворачиваются те, кто устал повторять одно и то же, и посмотрел на приказчика — не в глаза, на переносицу, как учил Боян, чтобы не злиться, чтобы видеть человека, а не его страх.

— Я обещал довести до Торговой, — сказал он. — Мы дошли. А дальше — ты сам выбрал. Я тебе сказал: либо уводим её сейчас, либо оставляем. Ты не согласился. Значит, оставляем. И не потому, что я злой, и не потому, что мне мало серебра. А потому, что камень — он не ждёт. Камень — он как река: либо переходишь сейчас, либо ждёшь до зимы, когда замёрзнет. А здесь зима не наступает. Здесь только камень.

— Она живая! — Ярило дёрнул поводья, и жеребец попятился, испугавшись хозяйского крика. — Я письмо получил, я знаю — она живая! Живая, слышишь? Не мёртвая!

— Живая, — согласился Кремень, и голос его стал тише, не от слабости, а от того, что он устал кричать в мёртвом городе, где каждый звук — как камень, брошенный в колодец. — В камне. А камень — он не ждёт, я же сказал. Ты хочешь её спасти — спасай. Но не сейчас. Сейчас — уходим. А завтра, может, и вернёмся. А может, и не вернёмся. Это — как получится.

Ярило открыл рот, хотел крикнуть, но Кремень поднял руку — не резко, а так, как поднимают руку, чтобы остановить не человека, а сам воздух, чтобы он не шумел, чтобы можно было слушать.

— Слушай, — сказал он. — Ты слышишь?

Ярило замер. Прислушался. И лицо его — красное, от крика, от пыли, от страха — стало белым, как полотно, что белят к Пасхе.

Сначала — ничего. Только скрип колёс, фыркание лошадей, дыхание людей, что боятся дышать громко. А потом — звук. Тихий, почти неслышный, как будто где-то далеко, за углом, за стеной, за целым городом, треснуло дерево. Или камень. Или кость.

— Что это? — спросил Ярило, и голос его был теперь не крик, а шёпот, и в этом шёпоте было больше страха, чем в любом крике.

— Это, — сказал Кремень, — они просыпаются.

Он посмотрел назад — на площадь, что осталась за поворотом, на ту площадь, где стояли десятки, может, сотни фигур, и где теперь, в этом звуке, что шёл оттуда, как волна от брошенного камня, что-то менялось. Оттуда шёл звук — не громкий, но частый, как част стук сердца, что вот-вот остановится. Треск, щелчки, глухие удары — как будто кто-то бил кулаком в стену, или ломал лёд, или рвал ткань, что держала мир в одном куске.

— Не один, — сказал Кремень. — Много. И это — только начало. К закату — все встанут. А к ночи — пойдут. А ночью — они видят лучше, чем мы.

Филат, что ехал на второй повозке, спрыгнул — легко, как спрыгивают те, кто молод и не боится земли, — подбежал к Кременю, и в глазах его, в этих глазах, что всё замечали, Кремень прочёл то, что и сам знал, но не хотел говорить вслух.

— Мирон, — сказал Филат тихо, и голос его был ровный, но в этой ровности было напряжение, как в тетиве, что вот-вот выстрелит. — Там, впереди, у кузни. Двое шевелятся. Я видел. Не далеко — шагов пятьдесят. Но шевелятся.

Кремень кивнул. Не удивился. Не испугался. Потому что ходок — он не удивляется и не боится, он — знает. А если знает — значит, может действовать. А если действует — значит, живёт.

— Знаю, — сказал он. — Идём через огороды. Быстро. И не оглядываемся. Оглядываться — значит бояться. А бояться — значит умереть.

Караван тронулся — быстрее, чем раньше, и лошади, почуяв хозяйскую спешку, зашагали резвее, и колёса застучали по булыжнику, и мешки на повозках заходили ходуном, и соль, что была в одном из мешков, посыпалась на мостовую — белыми крупинками, как будто кто-то сеял их, как сеют зерно, только зерно это было не для урожая, а для того, чтобы отметить путь, по которому они уходят.

Кремень шёл впереди, мел в руке, колокольчик в другой, и размечал путь — короткими, уверенными чертами, не размазывая, потому что времени на размазывание не было, потому что каждый шаг — это шаг к дыре в заборе, к спасению, к жизни, или к смерти, и разница между ними — в скорости. Но звук сзади нарастал. Треск, щелчки, удары — и что-то ещё. Шёпот. Не слова — а как будто ветер в трубе, или дыхание многих людей сразу, или как будто сам город, что пятнадцать лет молчал, теперь заговорил, и голос его был не голос, а стон, что поднимался из-под земли, из-под камня, из-под пепла, что лежал на всём, что когда-то было живым.

Ярило оглянулся — не выдержал, — и лицо его стало белым, как полотно, что белят к Пасхе, и в глазах его был не страх уже, а что-то большее — ужас, что видит то, что не должен видеть, что понимает то, что понимать нельзя.

— Они идут, — сказал он, и голос его был хриплый, как будто он долго кричал, хотя не кричал. — Они идут за нами.

— Не идут, — сказал Кремень, не оборачиваясь. — Пока — нет. Они просыпаются. А пойдут — к закату. А когда пойдут — тогда беги. А пока — иди. Иди и не оглядывайся.

— А если не дойдём? — спросил Ярило, и в этом вопросе была не надежда уже, а отчаяние, что цепляется за последний шанс, даже если шанса нет.

Кремень не ответил. Он смотрел вперёд — на переулочек, что вёл к огородам, на дыру в заборе, что должна была быть за поворотом, если память его не подводила. Там, за поворотом, должна была быть лазейка в заборе, дыра, через которую когда-то таскали дрова, — он помнил её по прошлому году, по тому разу, когда вёл караван с купцом, что вёз меха в Зимовье на Мше, и купец тот был жадный, и не хотел платить за проводника, и Кремень привёл его через эту дыру, и купец дивился, как ловко ходок знает город, а Кремень не дивился, потому что ходок — он не знает город, ходок — он город чувствует, как охотник чувствует лес, как рыбак чувствует реку.

Караван свернул за угол — и Кремень увидел.

Дыра была. Низкая, в полтора аршина, с обломанными кирпичами по краям, с крапивой, что пробилась сквозь неё и тянулась к свету. Но перед ней, во дворе, где когда-то росли яблони, а теперь стояли только одичавшие, с мелкими горькими плодами, что никто не собирал, — стояли они. Трое. Мужик, баба, подросток. Каменные. Неподвижные. Но — тёплые. Кремень увидел это сразу — по тому, как на их плечах не лежала роса, хотя на других, что стояли в переулке, роса лежала, блестящая, как слёзы. По тому, как воздух вокруг них дрожал, как над

раскалённой печью, и как крапива, что росла у ног мужика, уже начала сохнуть — листья её скрутились, почернели, хотя корни были в тени.

— Стой, — сказал он, и голос его был ровный, без паники, потому что паника — это смерть, а ходок — он не умирает от паники, он умирает от того, что не успел подумать.

Караван остановился. Савватий придержал лошадей, посмотрел на Кременя — вопросительно, и в глазах его, в этих глазах, что видели много мёртвых городов, был вопрос, на который Кремень не хотел отвечать, потому что ответ был один, и ответ этот — плохой.

— Дальше не пройдем, — сказал Кремень. — Они греются. Ещё час — встанут. А встанут — не пропустят.

— А обратно? — спросил Филат, и голос его был ровный, но в этой ровности было напряжение, как в тетиве, что вот-вот выстрелит.

Кремень посмотрел назад. Звук с площади нарастал. Треск, щелчки, удары — и шёпот, что поднимался из-под земли, из-под камня, из-под пепла. Ближе. Ближе. Как будто город, что пятнадцать лет молчал, теперь дышал, и дыхание это было не дыхание, а стон, что поднимался из-под земли.

— Обратно — поздно, — сказал он. — Сзади — они. Впереди — они. А по бокам — стены. И дыра — единственное, что у нас есть. И дыра эта — за ними.

Ярило слез с коня — неуклюже, как слезают те, кто не привык к седлу, кто привык к карете, к мягкой подушке, к тому, что за него всё делают, — подошёл к Кременю, схватил его за плечо, и пальцы его были холодные, как у мертвеца.

— Что делать? — Голос его дрожал, и в этом дроге была не только злость, но и мольба, мольба человека, что понял: он не хозяин здесь, он — гость, и гость этот — нежеланный. — Ты же ходок. Ты же знаешь. Что делать?

Кремень посмотрел на него — на переносицу, потом — в глаза, впервые за день, и в глазах Ярилы он увидел то, что видел у десятков таких, как он, — не трусость, а понимание, что понимание это — позднее, что оно пришло тогда, когда уже ничего нельзя изменить.

— Молиться, — сказал он. — Чтобы они не встали до заката. А если встанут — чтобы ты успел добежать до повозки.

Ярило отпустил его. Отступил на шаг. Посмотрел на каменных — на мужика, на бабу, на подростка, на их тёплые, дышащие плечи, и в глазах его была не надежда уже, а то, что бывает у людей, которые поняли: они умрут, и поняли это не вчера, а сейчас, в эту секунду, когда звук с площади стал ближе, когда шёпот стал громче, когда город, что пятнадцать лет молчал, теперь заговорил.

— А если встанут? — спросил он тихо, и голос его был такой тихий, что Кремень еле расслышал, и в этом тихом голосе было больше, чем в любом крике.

Кремень не ответил. Он смотрел на площадь — туда, откуда шёл звук, и видел — как из-за угла, медленно, неуклюже, выходит фигура. Мужик. Большой, плечистый. Тот самый, что стоял в переулке. Тот, кого Кремень проверил резонансом, тот, кто видел дочь, бегущую по полю, тот, кого усыпили свои, соседи, те, кому он верил.

Он шёл — медленно, но верно, и каждый его шаг отдавался в булыжниках глухим, тяжёлым звуком, будто он нёс на плечах невидимую ношу, что давила его к земле. Руки его были раскинуты в стороны — всё так же, будто он обнимал кого-то невидимого, или будто хотел удержать то, что уже ушло. Голова запрокинута. Рот открыт. И глаза — красные, как кровь, как угли в золе, как то, что горит, но не даёт света.

— Беги, — сказал Кремень.

Ярило не понял.

— Что?

— Беги, — повторил Кремень, и голос его был ровный, без паники, без приказа, просто констатация, как констатируют, что солнце встаёт на востоке. — К повозкам. Скажи Савватию

— разворачивай. Иди назад, на Базарную, потом — на тракт, потом — не останавливаясь, пока не увидишь Ямскую слободу. Быстро.

— А ты? — спросил Ярило, и в этом вопросе была не забота, а то, что бывает у людей, которые поняли: их бросают, и поняли это не вчера, а сейчас.

Кремень не ответил. Он достал тесак — короткий, с широким лезвием, с рукоятью, обмотанной тряпьем, чтобы рука не скользила, — сжал рукоять, и почувствовал, как пальцы его, что дрожали после резонанса, теперь сжимаются крепче, как будто тесак — это не железо, а продолжение руки, как будто рука — это не рука, а продолжение воли. Посмотрел на мужика, что шёл из-за угла, на его красные глаза, на его раскинутые руки, на его рот, что был открыт, как у того, кто хочет кричать, но не может.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.